

Глеб Иванович Успенский

Про одну старуху



Глеб Иванович Успенский
Про одну старуху
Серия «Столичная беднота», книга 3

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664705*

Аннотация

«И с кем это старуха разговоры разговаривает?» – недоумевал отставной солдат, сидя за починкою старого сапога в одном из гнилых, сырых петербургских «углов» и слушая, как за ситцевой занавеской другого «угла» с кем-то ведет разговоры только что перебравшаяся новая жилища-старуха.

«Кажись, – думал солдат, – никого я у нее не приметил, а разговаривает?»

И он прислушивался.

Новая жилища вбивала в стену гвоздь и действительно с кем-то разговаривала. ...»

Содержание

I	4
II	8
III	14
IV	19
Примечания	24

Глеб Иванович Успенский

Про одну старуху

I

«И с кем это старуха разговоры разговаривает?» – недоумевал отставной солдат, сидя за починкою старого сапога в одном из гнилых, сырых петербургских «углов» и слушая, как за ситцевой занавеской другого «угла» с кем-то ведет разговоры только что перебравшаяся новая жилища-старуха.

«Кажись, – думал солдат, – никого я у нее не приметил, а разговаривает?»

И он прислушивался.

Новая жилища вбивала в стену гвоздь и действительно с кем-то разговаривала.

– Ишь! – сказал солдат.

– По крайности хоть своего ангела образок нажила за сорок лет! – слышалось за ситцевой занавеской вместе с звуками вколачиваемого гвоздя. – Родительского благословения у нас с тобой нету! По крайности хоть свой ангел... хорошо ли так-то?..

Вколачивание гвоздя прекратилось, и солдат подумал, что сейчас вот кто-нибудь ответит, хорошо ли она повесила образ. Но никто не отвечал; слышно было, как старуха села

на свое скрипучее, из полен и ящичков составленное ложе и вздохнула.

– И своего-то ангела отдать мне некому, друг ты мой! – вздохнув, заговорила старуха. – Ох, и где-то детки мои милые? Где детушки мои родименькие! Где-е? скажи ты мне?..

Последний вопрос сопровождался громким и внезапным рыданием, и как бы в ответ на него послышался какой-то посторонний, как бы сочувствующий вздох.

«Есть кто-то! – приостанавливаясь работать, недоумевал солдат. – Тоже плачет!»

В звуке, который послышался за занавеской, действительно слышались как будто слезы.

«Плачет и есть!»

Солдат осторожно положил на обрубок, заваленный принадлежностями сапожного дела, свою работу – рваный сапог, и стал едва заметно приближаться к занавеске, с каждым шагом все ниже и ниже наклоняясь и приседая к земле.

«Кто бы такой?» – подвигаясь на четвереньках, думал он.

– Ох, и взыщет господь за детушек моих! с господ взыщет! С нас что взыскать? мы люди подневольные! У нас воли не было ни капельки, ни единой минуточки! Был один страх – только всего! Чего со страху не сделаешь? И тебя ежели учнут бить да колотить, и ты уйдешь... И я бегивала, да глупа была, не знала, куда бежать! Ох, детушки мои! Где вы? ни одного нету! Теперь и волю дали, и хромая я, одна на всем свете, хоть бы кто один был жив, мальчик... пришел бы! нет,

нету!..

Жилица плачет громко навзрыд, и ей отвечает какой-то мучительно болезненный стон неизвестного собеседника, вслед за которым вдруг раздается оглушительный лай, и солдат, просунувший было голову под занавеску, кубарем летит к своему обрубку...

– Дурдилка! Глупая! Цыц! Что ты это, глупая, на кого?.. – останавливает собаку старуха.

– Жид вас заешь! – потирая щеку, оцарапанную собакой, кричит совершенно рассерженный солдат. – С собаками разговаривают, дубье эдакое! Я думал... Ах вы, анафемы эдакие!.. Как же ты можешь с собакой разговаривать?..

– Да не с кем мне!..

– Не с кем! – несколько утихая и успокаиваясь, пробурчал солдат. – Не с кем! Какую отличную компанию нашла – собаку!..

– Да не с кем мне, батюшка!.. Все в господском доме жила, дворовая была, а вот теперь мне волю дали... Прослышали господа, дай бог им здоровья, что воля будет всем, ну и пустили меня на все четыре стороны, потому я уж стара стала... хрома, нога болит... что ж меня кормить-то задаром? Ну и отпустили! Ни отца, ни матери нет... деток нету! – У нас строгая была барыня... Н-ну с кем же мне? И есть что одна собака... Дурдилушка! что мы с тобой будем делать... а?..

– Ха-ха-ха! – совершенно успокоившись, засмеялся сол-

дат. – Волю дали!.. И шутники же только, ей-ей!

– Уж да! Уж шутники!.. – согласилась старуха... – Пустили человека по ветру!..

– Ха-ха-ха! Ну, и как же теперь ты, старушка?

– И не знаю, господин кавалер! Я так думаю, надо с терпением ждать своей кончины!..

– Гм!.. По крайности ты бы с приезде, для начатия знакомства, хоть мало бы мальски угощеньица солдату? Все, авось, что-нибудь...

– Что ж, я с моим удовольствием: есть у меня серебряная ложка...

– Господская?

– Господская, господин служивый, не утаю! Не умирать, сам суди... Я почесть босиком ведь ушла на волю-то!

– Ну, ничего... ты эту ложку-то дай мне, а я уж все предоставлю и сдачи принесу!

Солдат скоро оделся и, ожидая ложки, которую старуха доставала из тряпок и узелков, смотрел на собаку и говорил:

– Ничего собачка!.. Они тоже случаются верные собаки... И разговор понимает!.. ничего!.. Я тебе сдачи принесу с ложки-то...

Солдат ушел. Старуха, в ожидании его, снова связывала свои тряпочки в узелки и плакала, а Дурдилка сидела против нее молча, угрюмо и не спускала с нее глаз.

II

Настасья, так звали старуху, действительно была в беззащитном положении. Круглая сирота и больная, она, кроме того, была несчастна незнанием жизни, несмотря на то, что была уже старуха. В самом деле: «дворня», «жизнь на воле», даже та, какую ведет ломовой извозчик, поденщик, простой нищий, это – большая разница. Все они знают людей равных себе, знают, как с ними вести дела, знают, на кого работают, потому что у каждого семья или хоть просто личная потребность не умереть с голоду. У каждого из них есть приемы, как изловчиться в трудной жизни. У Настасьи этого ничего нет. Хлеб она всю жизнь ела господский, – и теперь заработать его не умеет; работала она, что прикажут, но не для себя, а для других; а с людьми жила так, как приходилось. Словом, относительно жизни она была чистый ребенок. В течение двухлетнего житья в углах за ней заметили однажды грех, покражу платка, и долгое время звали воровкой, тогда как она лично не считала своего проступка пороком. Она привыкла к этому в дворне. И множество других привычек, усвоенных ею на дворне, въелось в нее и портило ее отношения хотя и к нищенской, но более или менее самостоятельной жизни, окружавшей ее на воле. Работает она, например, целую неделю без усталости, по двугривенному в день в прачешной, встает в четыре часа и приходит в свой угол в девять;

выработает что-нибудь и пропьет, хотя бы ей давно надо было купить башмаки. На нее, пьяную, смотрят с презрением (и действительно, она неприятна), а у ней нет другого удовольствия: до сорока лет она привыкла «урвать да уехать», то есть воспользоваться свободной минуткой, случайно попавшим гривенником. Другие из жильцов в углах угощают друг друга кофеем, сплетничают, ругают хозяев, ругают лавочника; она же ни к чему этому не имеет аппетита, она не привыкла стоять за себя. И как же скучно ей на воле!.. Как она печалится, видя, как живут люди, и сравнивая, как свой век прожила она. Из-за чего ей биться и мучиться, больными ногами стоять по колено в воде в холодной прачешной?.. Нет у ней ни друзей, ни детей. Друзья из той же дворни сами может быть, так же как и она, где-нибудь доживают свой век. А дети? О детях страшно и подумать... Куда она их девала? И зачем? Боялась строгой барыни, когда бога нужно было бояться больше ее! Душевное одиночество страшно вообще, и уж как страшно оно у Настасьи!.. В два года житья в углу ни одного вечера не прошло, чтобы трезвая или хмельная Настасья не плакалась на себя, возбуждая негодование соседей своим хриплым неприятным голосом, не плакалась перед Дурдилкой о своем горьком житье...

– Смотри! – говорила она Дурдилке, – только задумай уйти... Разыщу, удавлю своими руками!..

– Я те дам! – отзывался солдат. – Попробуй!

– И удушю! Ты что тут? Нешто твоя собака?

– Не моя, а не дам!.. На то есть начальство собак бить, – а не ты. Не дам!.. Себе возьму!

– К себе?.. Да ты хоть озолоти ее, не пойдет она к тебе.

– Эх, дура старая!.. Я ей кусок дам, она сейчас ко мне пойдет!.. Сладкое ей у тебя житье, нечего сказать!.. Тютек!.. Иси, сюда, пострел!

– Ну-ну! – говорит Настасья, смотря на Дурдилку. – Поди-поди, попробуй!

– Иси, сюда! на говядины!

– Поди, Дурдилка, возьми у кавалера говядины, она у него с француза еще в зубах застряла...

– Старуха-а! не шуми! – довольно строго предостерегает солдат.

– Ты зови собаку-то!.. Ну зови!.. чего ж ты?

– Старая баба! – презрительно заключает солдат, так как Дурдилка решительно не поддавалась соблазну.

– Ай взял? – с удовольствием кричит Настасья соседу... – Так, так, Дурдилушка! На тебе корочку, у-у ты, моя легковерная слуга!

Настасья употребляла иногда в разговоре слова совсем не те, какие следует; это потому, что она на своем веку слышала слов довольно мало и теперь, на воле, усвоивала всякое слово без разбору.

«Легковерная», по словам Настасьи, Дурдилка была действительно верная собака, и не потому, чтобы она была благодетельствована Настасьей, а по одинаковости положения.

Это тоже была «дворовая» собака, без конуры, без хозяина. В характере ее было много мрачности, равнодушия и вместе недоверия. «На кость!» – говорит ей какой-нибудь добрый обыватель угла. Дурдилка мрачно смотрит на него и не идет. «На, дура!» Она чуть-чуть вильнет хвостом и – все ни с места. Надо бросить кость и уйти: и тогда, подождав и убедившись, что кость одна и никто над ней не сторожит, она медленно подойдет к ней, медленно возьмет и медленно понесет в такой угол, где уж ее не сыщешь. В жизни Дурдилки бывали разные случаи и разные повара. То она привыкнет свободно входить в кухню и наверное рассчитывать на кость; то вдруг, явившись в веселом расположении духа, получает от нового повара полный ковш кипятку на свою спину. Когда ее били, она не визжала и не рычала, а только поджимала хвост и уходила: она привыкла. Настасью она знала и была уверена, что если у Настасьи есть что-нибудь из съестного, то и ей, Дурдилке, достанется. От этого она и верна была ей; да кроме того она чувствовала, что время ее прошло, что собака она была не хозяйственная и что на улице ей делать нечего: только поглядит, да и пойдет в угол лечь. Во всем доме, во всем дворе ей не симпатизировала ни одна собака. Если иной раз к ней разлетится какой-нибудь джентльмен, то Дурдилка просто отойдет от него, опустив голову, словно конфузясь за джентльмена, что он не на ту напал. И джентльмен действительно поглядит ей вслед чуть-чуть и тоже уйдет. Настасье нравилось это отчуждение Дурдилки от собачьего

общества. «Нечего тебе с ними, – говорила она ей: – что за компания? Издерут последнюю шкуру. На кость – и сиди!» И Дурдилка сидела в ее углу. Раз только Дурдилка позволила было себе вмешаться в чужие дела. Выйдя на двор, она увидела, что с молоденьким, месяцев пяти, щенком играет собачка, постарше щенка месяцами двумя. Собачка повалилась на спину и пренежно целовала щенка, который совал ей голову в самый рот. Дурдилка зарычала на собаку. В эту самую минуту ее настигла возвращавшаяся домой Настасья. Как несчастная мать, много выстрадавшая из-за неудовлетворенного чувства любви, она сразу поняла, что тут происходит.

– А, плут-собака! – накинулась она на Дурдилку, – завидуешь, шельма этакая! Зачем сюда пришла? – пошла домой! (Дурдилка пошла, поджав хвост.) А, каналья, – продолжала Настасья, войдя в угол и обращаясь к Дурдилке, которая уже была в темном углу под кроватью. – Что норовишь? Тебе ли, старой дуре, соваться в чужие дела? Уж лежала бы, старая дура, ждала смерти (под кроватью слышался вздох). Тоже завидуешь! Али ты думаешь, мне легче твоего? Что ж, и мне теперича, стало быть, надо думать, отчего это у нас с тобой, у старых псов, ни деток, ни..?

И начался длинный монолог о горькой доле, принимавший все более и более драматические оттенки, по мере того как опоражнивалась посудинка с водкою (бутылочка от одеколона, тоже господская), посудинка, которую Настасья име-

ла обыкновение приносить с собою, возвращаясь с работы.

– Проклятушая! – кричала она на Дурдилку поздно ночью
– Из-зуродую! лежи не евши!..

Иногда пьяная Настасья была очень отвратительна: зубов у нее нет, глаза громадные, черные, злые; впалые, дряблые щеки побелели от злости; голос злой, хриплый, гадкий... и как же зато была она несчастна! Дурдилка – и та на что-то надеется, даже вот хочет защитить щенка. А Настасья так измучена, больна, одинока, что и подумать не может быть с кем-нибудь, кроме Дурдилки, в приятельских или враждебных отношениях.

– Когда ты замолчишь, старая карга? – не вытерпев, закричал ей солдат. – Городового позову!.. Что это такое?

А Настасья все ругала и проклинала Дурдилку, а сама плакала. Потом позвала Дурдилку, накормила ее и все-таки плакала... Дальше солдат ничего не слышал.

III

Однажды Настасье пришлось мыть полы в квартире каких-то молодых супругов, которые только что женились и были в отличнейшем расположении духа. Их «хвалил» в эту пору весь обыкновенный штат петербургского дома, получающий и просящий на водку. Дворники, швейцар, кухарки, газетчик и т. д. – все их называли: «вот уж господа, так-так!», потому что господа совали деньги куда попало... Они были ко всем расположены. Это расположение попало и на долю Настасьи. Барыня ее расспрашивала, сколько она получает, где живет, отчего не лечила ногу. Господа удивлялись, жалели, обещали послать ее к знакомому доктору, дали лишний полтинник, напоили чаем, подарили башмаки и сказали, чтоб она приходила к ним, когда нет работы. Словом, господа эти, по мнению Настасьи, поняли ее и жалели; очень хорошо чувствовала она на душе. Ей казалось, что она живет уже не одна на свете и не на воздухе висит, – у ней есть под ногами земля. Она может сходить «в гости». И она ходила в гости, только каким-то особенным образом.

В сундуке ее были какие-то удивительные наряды, всё, конечно, из «господских». Была тут коротенькая юбка, словно балетная, шелковые заштопанные шерстью чулки; была

тут какая-то черная люстриновая баскина¹, вся на камыше и железе, концы которых давно вылезли наружу, словом – наряды самые удивительные. Одевшись в это шутовство, она чувствовала себя хорошо и шла *в гости*, где вела себя так: прямо отправлялась в кухню «молодых господ», засучивала рукава баскины, подтыкала балетную юбку, снимала шелковые чулки и башмаки и принималась мыть, стирать, подметать, словом – делать все, что следует делать кухарке. «*В гостях*» она перечистит все ножи, перемоеет все тарелки, вспотеет от работы десятка два раз и, напившись кофею, уйдет. Угощалась она таким образом очень странно, но все-таки ей было удивительно весело, на душе. Чем бы она ни отблагодарила «молодых господ» за внимание, если бы могла, но, кроме стирки, в ее распоряжении не было ничего.

Так она ходила *в гости* довольно долго и впоследствии приводила с собою даже Дурдилку, которая однажды, когда господа почувствовали одним вечерком порядочную скуку, даже очень развлекла их и понравилась им.

– Не взять ли нам собачку? – предложила молодая жена.

– Д-да! – согласился муж... – Необходимо завести что-нибудь... вообще... даже двух...

Настасья разыскала им двух щенят, но Дурдилку водить перестала. Так прошло довольно долго, и Настасья чувствовала себя хорошо, как вдруг случилось следующее обстоя-

¹ Люстриновая баскина – накидка из шерстяной или полушерстяной ткани с глянцем.

тельство. Раз, на масленице, к молодым господам нежданно-негаданно наехало и нашло пропасть приятелей и друзей. Вдруг поднялось такое веселье, которого нарочно никогда не устроишь: полилось вино, заиграло фортепьяно, пошли танцы, шутки, смех. Настасья давно не видывала такого веселья. Ей было так хорошо и весело, как, может быть, бывало только в раннем детстве. Она забыла, что у ней болит нога, бегала по десяти раз за вином, выпивала и опять бегала, и раз какой-то шутник из гостей вдруг обхватил ее и провальсировал с нею по комнате, причем все хохотали. Настасью полили вином, заставляли ее шутить, говорить прибаутки, которых у ней было в запасе довольно. В передней набилось горничных со всей лестницы; пришли посмотреть на потеху какие-то неизвестные люди, довольно прилично одетые в новые сибирки, и, поглядев немного, раскритиковали всю публику и ушли; Настасья не слыхала этой критики и веселилась как ребенок, не помня себя, возбуждая всеобщий хохот, и господ и зрителей передней: она проплясала какую-то удивительную пляску, целовала ручки, представляла, как ездит «легкая почта», причем почему-то боком скакала по горнице, словом – делала всевозможные глупости. Но репертуар их у Настасьи был невелик, а ей хотелось дальше и дальше.

Послали ее не то за табаком, не то за вином. Полетела Настасья с лестницы, как птица, и вдруг видит, что дворник забыл на площадке лестницы топор. Ей вдруг смертельно захотелось украсть этот топор; ей представилось, как это будет

необыкновенно весело, и она в одну минуту схватила его, притащила в горницу и объявила: «У дворника украла!» – и залилась громким смехом. Это было так глупо, что все пока- тились со смеху, а Настасья, разумеется, больше всех. Не за- мечая того, что веселье, во время ее отсутствия за покупкой, приняло другое направление, она, воротившись, рассказала, продолжая покатываться со смеху, что встретила на лестни- це дворника, который искал своего топора (представила да- же) и, не находя, ругался... Так как это продолжение исто- рии о топоре было совершенно неожиданно среди нового на- правления веселья, то публика опять засмеялась, а Настасье стало еще веселее. Как кончился веселый день и вечер – ни- кто из гостей на другой день хорошенько не помнил. Не пом- нил никто и о Настасье, и только недели через полторы уже кто-то – барыня или кухарка – вспомнили о ней: «Что это давно не видать Настасьи?»

Прошла еще неделя, Настасьи все нет.

Кухарка зашла к ней на квартиру, но и там ее не было; там сказали, что недели две с половиной назад пошла она в баню и с тех пор «не бывала». Угол ее отдан другому, сундук и «ангел» – у хозяйки, а Дурдилка шатается где придется. Хозяйка не весьма ласково отзывалась и о Настасье и о Дур- дилке, которая, кстати сказать, очень внимательно слушала этот разговор.

А с Настасьей вот что случилось.

На другой день после веселого дня Настасья пошла в ба-

ню, намереваясь оттуда пройти к «молодым господам», помыть полы «после вчерашнего», поприбраться, словом – «в гости». Воспоминания о вчерашнем веселье не покидали Настасью. Она так разлакомилась вниманием и смехом, которые возбуждала вчера, что и сегодня так ее и подмывало отмочить какую-нибудь смешную штуку. Выходя из бани, она заметила целую грудку шаек и, проворно схватив, спрятала одну из них под полу: ей представилось, как господа захочут, когда она явится и похвастается вновь покражей, как смеялись все вчера покраже топора. Схватив шайку, она побежала бегом; но думая, что еще будет веселей, если притащить две (у туляка, думала она, их много!), вернулась, схватила другую, потом вдруг третью, потом веник...

– Ты что это делаешь? – строго, но спокойно сказал неожиданно появившийся дворник.

– Батюшка, я в шутку.

– В шутку!.. – повторил дворник и тотчас, с тем же спокойствием петербуржца, крикнул младшему дворнику, расчищавшему снег: – Иван! покарауль старуху, гляди, не убегла бы, я городского приведу...

– Батюшки! родимые! Христом богом!

– У нас две тысячи шаек в год публика ворует, всё тоже – в шутку. Гляди, держи!

Вопли Настасьи собрали толпу, которая сильно осрамила Настасью. Ее взяли в часть.

IV

Настасью взяли в часть просто для «острастки», в шутку, на одну ночь; но утром, когда ее хотели выпустить, она лежала вся в жару, совершенно больная. Водочкой погреться после бани ей не удалось, а и на дворе и в камере части было довольно холодно. Кроме того, она была испугана и глубоко огорчена. Она горько плакала, сидя с ворами и пьяницами и вспоминая Дурдилку, которой никто теперь поесть не даст и которая, после знакомства Настасьи с молодыми господами, иной раз получала хороший кусок и даже привыкла к этому куску. К утру Настасья совсем разнемоглась. Ее поместили в больницу, и здесь-то пролежала она, почти не вставая, шесть месяцев. Разболелась нога, о которой в веселее она забыла думать, спина, грудь, сердце. Все это, измученное и старое, поддерживалось прежде водочкой, а теперь все это расклеилось, пошло врозь. Настасья каждую минуту ждала смерти, вспоминала свою жизнь, детей, думала, что будет гореть в аду, думала беспрестанно о Дурдилке, представляла, как ее гонят со двора, как она умирает. Словом, в эти шесть месяцев и физически и нравственно она выстрадала ужасно много. Она чуяла, что смерть приходит, что она не за горами, и это-то предчувствие заставило ее бодриться, чтобы в последний раз поглядеть на белый свет, посмотреть на Дурдилку, на господ.

Слабая, раздражительно-нервная выписалась она из больницы. Надежда – что вот сейчас она увидит молодых господ, которые пожалеют ее, несколько ободрила Настасью. Выйдя из больницы, она выпила водочки и поплелась к господам. Шла она долго, утомилась, устала. Наконец добралась.

Но господа переехали – там живут другие.

Как ножом ударило это Настасью в сердце: ей отдохнуть, даже присесть было негде.

– Куда переехали, милый человек, такие-то? – спрашивала она у дворника.

– Выехали в Москву... в деревню!

Настасья вдруг потеряла бодрость, вдруг ослабела и присела у ворот, прямо на тротуар. Долго сидела она в одышке; но так как дело шло к вечеру, нужно было идти куда-нибудь.

Она пошла к Дурдилке в свой старый угол.

Поздно уже ночью добралась она туда.

И действительно, только любовь к собаке держала еще ее на ногах. С самым лучшим, с самым задушевным другом мы не так встречались, не с такою пламенной любовью спешили к нему навстречу, как Настасья желала и спешила встретиться с Дурдилкой.

Но в «угле» Дурдилки нет.

– Где ж она? – едва дыша, произнесла Настасья.

– Где? Да солдат твой взял ее...

– И пошла? Дурдилка с солдатом убежала?

– Чего ж ей! Ее здесь кормить некому.

Настасья окаменела от такой измены. Дурдилка могла умереть с голоду, но изменить! Настасья никогда не ожидала этого.

– У-у, проклятая образина! – разозлившись, закричала она. – Удушю и с солдатом-то вместе! Бессовестные разбойники! Куда солдат переехал? давай адрес мне, пойду изуродую обоих разбойников!

Солдат, оказалось, переехал куда-то очень далеко, и идти теперь, ночью, не было никакой возможности. Настасья, в гневе и в возбужденном состоянии, провела в кухне хозяйки целую ночь, предварительно выпив, за уступленную хозяйке баскину, довольно много водки. Целую ночь она плакала, ругалась, забываясь только на минуту, целую ночь ругали ее за беспокойство угощенные ею же обыватели углов. Утром, с хмельными парами в голове и еще более больная и слабая, она пошла к солдату. Она так была больна, что не могла злиться на Дурдилку, рассудивши ее беззащитное положение; она была уверена, что собака обрадуется ей, и все пойдет по-старому. Ей нужно было только взглянуть на нее.

– Где собака? – довольно категорически спросила она солдата, разыскав его в «углу» на Петербургской стороне.

– Какая собака?

– Какая! моя собака! где Дурдилка?

– Тепериче она не твоя! – спокойно и даже с иронией отвечал солдат.

– Как не моя? Вор ты этакой!

– Не шуми, старуха! Толком тебе говорю, не твоя собака теперь! Не пойдет она за тобой, хоть ты ее озолоти.

– Врешь, разбойник!., горло перерву вору! – Слушай, старуха! ведь ежели я примусь...

Солдат показал кулак.

– Берегись этого! Я говорю дело. Вон твоя собака, поди попробуй, пойдет ли?

В углу за сундуком действительно виднелась морда Дурдилки. Настасья замлела от радости, как только увидела эту морду.

– Голубчики! – прошептала она с истинно материнскою нежностью, осторожно подходя к Дурдилке и недоумевая, почему это она сама не идет к ней и почему эта морда и глаза как будто не те, что прежде?

– Дурдилушка! – протянув руку к собаке, шептала Настасья,

Но Дурдилка вдруг оскалилась и, захлебываясь, зарычала на Настасью, как на лютого врага.

– Ай взяла? – с удовольствием произнес солдат. – Ну, поди, подступись!..

– Дурдилушка! Матушка! – шептала ошеломленная Настасья, не помня себя... – Это я... что ты?

Но Дурдилка рычала все грозней и грозней. Шерсть у нее на затылке стояла дыбом.

– Да что же это ты сделал, варвар этакой? – вдруг в совершенном отчаянье вскрикнула Настасья, обращаясь к солда-

ту. – Что ты сделал с моей собакой?..

– Дура! – остановил ее солдат. – У ней щенята!.. Чего ты ко мне лезешь? тресну, ведь дух вон!..

– Щенята! – побледнев, прошептала Настасья. И тут началась отвратительная и ужасная сцена.

В углу солдата раздавалась возня, крик, лай, визг щенят, удары, звон разбитых стекол. Эту сцену кончили городовые.

* * *

– Щенят перебила, – рассказывали на другой день в углах. – Солдату щеку раскроила... Все переломала... Собаке ногу переломила... После увезли в часть. Говорят – сумасшедшая.

Настасья, должно быть, на этот раз и умерла в части, потому что жить ей стало совершенно незачем.

Примечания

Рассказ впервые появился в книге «Нашим детям. Иллюстрированный литературно-научный сборник». Изд. А. Н. Якоби. СПб., 1873, с иллюстрацией и гравюрой на дереве В. И. Якобия и датой написания: 15 марта 1873 года; перепечатанный без изменения в сборнике Успенского «Лентяй, его воспоминания, наблюдения и заметки», СПб., 1873, рассказ вошел в «Сочинения» с незначительными стилистическими поправками.

Рассказ о трагической судьбе больной одинокой старухи из дворовых крестьян, погибающей после «освобождения» 1861 года в «углах» и «норах» петербургских «трущоб», – в книгу для детского чтения попал случайно, в пору сильных денежных затруднений писателя.